

Александр Куприн

Волшебный ковер



Александр Куприн
Волшебный ковер

«Public Domain»

1919

Куприн А. И.

Волшебный ковер / А. И. Куприн — «Public Domain», 1919

«Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон: от него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей, обращаются с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно, без малейшего сожаления...»

Александр Иванович Куприн

Волшебный ковер

Когда в доме накопится много старого, ненужного мусора, то хозяева хорошо поступают, выбрасывая его вон: от него в комнатах тесно, грязно и некрасиво. Но есть люди невежественные или невнимательные, которые вместе с отслужившим ветхим хламом не щадят и милых старинных вещей, обращаются с ними грубо и небрежно, бессмысленно портят и ломают их, а искалечив, расстаются с ними равнодушно, без малейшего сожаления.

Им и в голову не придет, что когда-то, лет сто или двести тому назад, над этими почтенными древностями трудились целыми годами, с любовью и терпением, прилежные мастера, вложившие в них очень много вкуса, знания и красоты, что из поколения в поколение сотни глаз смотрели на них с удовольствием и сотни рук прикасались к ним бережно и ласково, что в их причудливых старомодных оболочках точно еще сохранились незримо тончайшие частицы давно ушедших душ.

Попробуйте только, взгляните внимательно в эти наивные памятники старины: в резные растопыренные бабушкины кресла, дедовские бисерные чубуки с аметистовыми или янтарными мундштуками, створчатые часы луковицей, нежно отзванивающие четверти и часы, если нажать пуговку; крошечные портреты, тонко нарисованные на слоновой кости; пузатенькие шкафчики, разделанные черепахой и перламутром, с выдвижной подставкой для писания и со множеством ящичков, простых и секретных; прозрачные чайные чашки, на которых густая красная позолота и наивная ручная живопись до сих пор блещут свежо и ярко; резные и чеканные табакерки, еще не утратившие внутри слабого аромата табака и фиалки; первобытные, красного дерева, клавикорды, перламутровые клавиши которых жалобно дребезжат под пальцем; книги прошлых веков в толстых тисненых золотом переплетах из сафьяна, из телячьей или свиной кожи. Приглядитесь к ним долго и почтительно, и они расскажут вам такие чудейные, затейливые, веселые и страшные истории прежних лет, каких не придумают теперешние сочинители. Для этого надо только научиться понимать и ценить их.

Да, кроме того, разве все мы не знаем еще со времен раннего нашего детства, что в давнишние годы встречались иногда, переходя из рук в руки, особенные, замечательные предметы, обладавшие самыми удивительными чудесными свойствами. Кто поручится за то, что все они так-таки совсем навсегда ушли, исчезли из человеческой жизни? Разве мы слышали о том, какая дальнейшая и окончательная судьба постигла все эти сундуки-самолеты, семимильные сапоги, шапки-невидимки, волшебные палочки, магические кольца? Почему знать, может быть, у вас в темном и пыльном чулане никому неведомо валяется сплюснутая и позеленевшая лампа Аладдина? Может быть, та тонкая монета из вашей коллекции, на которой чеканка с обеих сторон стерлась гладко на нет, – это и есть знаменитый неразменный фармазонский рубль? Три года тому назад вы потеряли старенький, истертый губами и зубами свисток. Теперь вы совсем забыли о нем, но тогда – что греха таить – ревели часа два подряд. Почему знать – сумеет ли вы в то время, хотя бы нечаянно, свистнуть надлежащим способом, и перед вами, как из-под земли, появился бы целый взвод солдат со знаменами и пушкой?

Не подумайте, однако, что я хочу угощать вас сказками; вы, я знаю, вышли давно из того возраста, когда верят несбыточному. История, которая сейчас будет рассказана, хотя и не обходится без волшебства, но тем не менее она настоящая, правдивая история, что мог бы вам подтвердить и ее главный герой, если бы вы с ним познакомились. Я думаю, что и до сей поры он жив и здоров.

Родился он в Южной Америке, в Бразилии, в городе Сантос. Родители его, французские переселенцы, владевшие кофейной плантацией, были людьми состоятельными и ничего не жалели, чтобы дать своему сыну хорошее образование, что, впрочем, и не было трудно, так

как мальчик отличался блестящими способностями. Правда, чрезмерная живость характера и пылкое воображение несколько мешали ему в делах холодной и точной науки. Что же до воспитания, то маленький Дюмон занимался им сам по себе, по своему вкусу и усмотрению. К двенадцати годам он плывал с неутомимостью индейца, ловко управлял парусом, ездил верхом, как гаучос, бестрепетно карабкался верхом и пешком по горным тропинкам, над пропастями, в туманной глубине которых шумели невидимые водопады. Был он также величайшим мастером в постройке и запуске самых разнообразных воздушных змеев; в этом благородном искусстве не было ему равного между сверстниками не только в Бразилии, но, пожалуй, и во всей Америке, если не во всем свете. Он умел придавать своим поднебесным игрушкам форму парящих острокрылых птиц и легких стрекоз, и когда они, полупрозрачные, блестящие, едва видимые на солнце, тянули мощными порывами из руки мальчика шнурок, его черные глаза, устремленные вверх, сверкали буйной радостью.

Так он и рос, привольно и беспечно, закаляя ежедневно свое гибкое тело всевозможными упражнениями, обогащая ум и взгляд наблюдениями над роскошной тропической природой, не испытывая пока особенного влечения ни к какому искусству или ремеслу, кроме пускания змеев. Но на двенадцатом году его ожидала встреча с не совсем обыкновенным человеком, которая нечаянно толкнула его на совсем необыкновенный путь.

Однажды вечером, когда он вернулся домой с рыбной ловли, таща на веревке связку только что пойманной рыбы, ему сказали, что в патио (внутренний тенистый двор, заменяющий в испанско-бразильских постройках гостиную) находится гость, известный ученый, профессор какого-то немецкого университета. Отдав свою рыбу на кухню, мальчик вошел в патио и учтиво поклонился незнакомцу. Это был огромный, толстый человек с тоненьким женским голосом, в золотых очках, краснолицый, с мокрой блестящей лысиной, которую он поминутно вытирал пунцовым шелковым платком. Быстро блеснув стеклами очков на поклон мальчика, он продолжал, не остановившись даже на запятой, начатый рассказ и с этой секунды бесповоротно пленил впечатлительную душу юного бразильянца.

Профессор изъездил весь земной шар и, кажется, знал все земные языки, живые и мертвые, культурные и дикие. Он только что приехал на пароходе из Мексики, где долгое время изучал жизнь, нравы, обычаи и язык вымирающего племени ацтеков, а теперь направлялся внутрь страны для такого же ознакомления с полудикими ботокудами и совершенно дикими буграми, чтобы впоследствии завершить свою ученую поездку на крайнем юге Америки наблюдениями над обитателями Огненной Земли.

Ученые специалисты обыкновенно бывают самыми скучными, сухими, замкнутыми и надменными людьми на свете. Этот ученейший профессор оказался прекрасным и неожиданным исключением в их среде. Он говорил охотно, живо, хотя, может быть, и чересчур громко и – главное – в высшей степени увлекательно. Он обладал удивительной способностью заставить слушателя видеть, слышать, чуть-чуть не осязать тот предмет или лицо, о котором идет речь. Это искусство не стоило ему никаких усилий: он не искал ни метких слов, ни удачных сравнений, они сами приходили к нему в голову и бежали с языка. Любую вещь, любое явление, о котором он говорил, он умел повернуть новой, неожиданной и яркой стороной, иногда забавной, иногда трогательной, иногда ужасающей, но всегда глубокой и верной.

Через много лет молодой Дюмон пробовал читать его замечательные книги: они оказались тяжелыми и скучными даже для специалистов.

Профессор привез с собой из Европы веские рекомендательные письма, и Дюмон-старший охотно предложил ему в своем доме самое широкое гостеприимство на все те десять или двенадцать дней, которые тот рассчитывал пробыть в г. Сантосе. За это время знаменитый ученый и юный пускатель змеев, к удивлению всех окружающих, сошлись в самой тесной и крепкой дружбе. С утра до вечера они были неразлучны, бродили вместе по городу и его окрестностям, купались, ловили рыбу, мастерили новый, чудовищной величины змей, катались на

парусной лодке. В характере профессора сохранилось странным образом много детской живости, а Дюмон-младший являлся для него самым внимательным в мире слушателем. Беседы их нередко бывали очень серьезны, хотя и облекались в остро-занимательные формы. Большой частью они начинались с какого-нибудь необыкновенного предмета, из тех, которыми всегда были полны карманы профессора. Так, например, однажды он извлек из своего бумажника какой-то плоский, неправильной формы кусочек не то камня, не то изделия из папье-маше вершка в три длиною, с одной стороны серо-желтый, а с другой – разрисованный в виде ровных полос и ромбов яркими и густыми красками – зеленой и красной. Протягивая эту вещь мальчику, он спросил:

– Определите, мой молодой друг, что это такое?

– Это? – спросил Дюмон, вертя в руках странный предмет. – Я думаю... камень? Штукатурка? Раскрашенная известка?

– А происхождение?

– Н-не знаю... Это что-то, мне кажется, не южноамериканское и даже, пожалуй, не европейское. Как чудесно раскрашено! Что же это?

– Это, мой молодой друг, не что иное, как пропитанный цементом толстый слой полотна.

А раскрашен он был три с половиной тысячи лет тому назад, чтобы служить облицовкой стен для гробницы одного из египетских фараонов... Имя его...

За именем фараона последовало описание его личности, его двора и царствования, а затем в волшебном рассказе развернулась, как достоверная история вчерашнего дня, величественная и мудрая жизнь Древнего Египта, с его войнами, религией, домашним бытом, наукою и искусствами. Точно так же профессор доставал из своих бездонных карманов какую-нибудь глиняную древнюю буро-зеленую безделушку – ручку от вазы, обломок серьги, кусочек браслета, и всегда он заставлял ее быть живой и красноречивой рассказчицей о старых-престарых временах, лицах и событиях. Для мальчика эти незабвенные часы и эти вдохновенные беседы остались навсегда самым серьезным и самым пышным воспоминанием детства.

Но дни бежали страшно быстро. Наступил последний вечер; завтра ранним утром профессору надлежало ехать на пароходе в Монтевидео. Друзья – старый и юный – сидели в чисто выбеленной комнатке младшего Дюмона; одна ее стена была красна от света пылавшей зари, другая – голубела в тени; из открытого окна лился сладкий аромат апельсиновых деревьев, которые заполняли весь сад бронзовым золотом своих плодов и нежною белизною цветов, так как эти деревья цветут и плодоносят одновременно. Оба друга были молчаливы и немного грустны, немного разочарованы. Им не удался сегодня один весьма интересный для обоих план. Профессор обещал упротить родителей мальчика, чтобы они отпустили его в путешествие на Паранагву и Корепшбу, но мадам Дюмон и слышать об этом не захотела. Она в испуге замахала руками: желтая лихорадка, дикие быки и ягуары в пампасах, ночлеги на голой земле, бродячие разбойничьи племена... нет, нет, господин профессор, это вы затеяли не подумавши...

Глаза профессора, никогда не оставлявшие наблюдения, медленно блуждали по темному потолку, по голубым и розовым стенам, потом опустились к полу. Вдруг он воскликнул с удивлением:

– Какой странный у вас ковер. Давно ли он у вас и откуда?

– Право, я не знаю, – ответил равнодушно мальчик. – Кажется, он еще от дедушки моего папы. Его давно хотели выбросить, но он мне почему-то нравится, и я попросил оставить его у меня. Он ужасно старый. Посмотрите, в некоторых местах протерся насквозь.

– Но обратите внимание, – возразил восторженно профессор, – он, правда, износился до дыр, однако совсем не утратил первоначальной прелести красок. Они только смягчились от времени и стали оттого еще благороднее. Позвольте-ка поглядеть мне его поближе к свету.

Ковер был небольшой, аршина в два с половиной в длину и два в ширину. Мальчик легко поднял его с полу и, перевесив один конец на подоконник, спустил другой через спинку бамбукового стула. Профессор сверх очков водрузил на нос золотое пенсне.

– Расположение цветов, окраска и орнамент, несомненно, индийского стиля, – говорил он, низко склоняясь над ковром. – Это замечательно старый и, несомненно, редчайший по красоте экземпляр. Я бы сказал, что он кашемирского происхождения. Персидский узор мельче, однообразнее и не так смел. Ага! Здесь еще имеется что-то вроде марки или нет... Это скорее именной знак... а может быть... Подождите-ка... Какая-то парящая птица, не то орел, не то коршун. Под ним черта с завитушкой... Посох? Жезл? Скипетр?.. Еще ниже буквы... Представьте себе, арабские буквы!

– Неужели арабские? – спросил, оживляясь, мальчик.

– Несомненно, арабские... Странно... На кашемирском ковре не может быть этой арабской вязи. На персидском – да. Неужели я ошибся? Очень жаль, что здесь, на самом интересном месте, дыра. Я могу прочесть ясно только одно слово. Оно произносится по-арабски – тар или тара, что в переводе значит – лечу, лететь... Изумительный ковер... поразительный!.. Я совсем не удивился бы, если бы мне сказали, что ему лет триста... нет, даже четыреста, даже пятьсот... Восхитительная вещь!

На это мальчик сказал с легким поклоном:

– Если он вам действительно нравится, то позвольте его считать вашим. Вы мне этим сделаете большое удовольствие. Я сейчас прикажу завернуть его, и затем как вам угодно? Возьмете ли вы его с собой, или я пошлю его вам домой в Европу.

– Нет, нет, этого совсем не нужно! – вскричал профессор. И затем, выпрямившись и сняв пенсне, он залился громким визгливым смехом. – Очень, очень благодарен, но вы с этой редкостью никогда не расставайтесь. Черт возьми! А что, если это тот самый волшебный, летающий ковер из «Тысячи и одной ночи», на котором когда-то прогуливался принц Гуссейн, а рядом с ним сидели принц Али со своей чудесной подзорной трубкой и принц Ахмед с целебным яблоком? Берегите это сокровище! Подумайте – ковер-самолет! Тара! Лечу!

– Ну вот... сказки... вы шутите, – протянул мальчик, немного задетый тем, что ему напомнили о его детском возрасте.

Профессор сразу сделался серьезным.

– Не пренебрегайте сказкой, мой молодой друг, не отворачивайтесь от нее, – сказал он торжественно. – Ведь вы и сами переживаете теперь упоительнейшую из сказок. Даже не сказку, а, пожалуй, только конец ее. А настоящая сказка была лет пять тому назад, в вашем золотом детстве, где все вокруг вас было сияющим чудом, игрой драгоценных камней на солнце, пением небесных птиц и райским благоуханием. Тогда с вами говорили звери и ангелы и вашего голоса слушались горы, воды и небо... – Он шумно вздохнул. – А все-таки мне непонятно, как это попали арабские буквы на индийский ковер? Или арабский джинн, заказывая его кашемирскому художнику, сам нарисовал пальцем на песке магические знаки: птицу, жезл и волшебное слово?..

Профессор уехал к диким южным племенам, и мальчик точно осиротел. Но, к счастью, в этом возрасте огорчения если и не менее остры, чем у взрослых, зато они гораздо короче: иначе бы ни у одного человека не было самого дорогого в жизни – детства. Прошло время, уменьшилась горечь разлуки, а там и самый образ толстого, тонкоголосого ученого стал бледнеть и уходить вдаль, и с каждым днем угасал блеск его сияющей лысины, пока не померк окончательно.

Зато старый ковер сделался любимой вещью мальчика. Он как будто бы приобрел в его глазах новую, глубокую, таинственную красоту с тех пор, как ученый коснулся его своими всезнающими пальцами. И часто по вечерам сидел на нем маленький Дюмон с поджатыми под себя по-турецки ногами и глядел на закатное небо, на голубизне которого раскачивались

апельсинные деревья с их жесткими, темными, блестящими листьями, пронизанными оранжевыми шарами плодов и осыпанными белым кружевом цветов.

Незаметно для себя он впадал постепенно в ту тихую полосу рассеянности и мечтательности, которую неизбежно переживают в его возрасте самые жизнерадостные и буйные мальчуганы.

Но вот что однажды случилось.

Мальчик, по своему обыкновению, сидел на ковре, поджав ноги. Указательным пальцем он машинально обводил прихотливый узор арабских букв и, слегка покачиваясь взад и вперед, напевал слабым печальным голоском на свой собственный мотив всякие слова, какие только приходили ему в голову:

Маленький мой коврик,
Волшебный старый ковер,
Таинственный, могучий ковер,
Создание страшного джинна,
Тара-тара-тар.
Ах, лети, лети, мой ковер,
Тара-тара-тар.
Высоко к небу, над облаками,
Высоко над землей.
Тара-тара-тар.
Пусть орел машет крыльями,
Пусть расстелется ковер по воздуху,
Рукоятку мне будет жезл;
Подниму ее – полечу кверху,
Опущу – полечу книзу,
Наклонюсь направо – полечу вправо,
Наклонюсь налево – полечу влево,
Тара-тара-тар.
Люди внизу маленькие,
Как муравьи.
Дома внизу маленькие,
Как игрушки,
А я один в воздухе,
Тара-тар.
Лечу на волшебном ковре,
Тара-тара-тар.

И он не очень удивился, когда черное изображение парящей птицы вдруг пошевелилось. Правое крыло, дрогнув, стало опускаться вниз, между тем как левое подымалось вверх, и птица сделала полный оборот вокруг своей продольной оси, сначала медленно, затем другой оборот несколько быстрее, потом еще, и еще, и еще, и завертелась бесцветным жужжащим дрожащим кругом. Между тем оба конца ковра плавно сжались и расправились в виде двух твердых перепончатых крыльев, а в руке у мальчика очутилась гладкая рукоятка рычага. Он слегка потянул ее к себе, и мгновенно расступились, растаяли стены комнаты, веселый ветер бурно пахнул в лицо, и полетел волшебный ковер в опьяняющем блаженном стремительном скольжении вперед и вверх к голубому, пламенеющему небу.

Мгновение, другое – и весь город оказался глубоко внизу, под ногами, очень странный с высоты, плоский и маленький. И теперь было удивительно то, что ковер уже не летел, а стоял

неподвижно в воздухе, а внизу навстречу ему бежали улицы, площади, сады и окрестности; они проскальзывали далеко внизу, под ковром, и торопливо убежали назад, назад. Ветер бил прямо в глаза. Монотонно жужжала вертящаяся птица. Легок и послушен был руль в гордой руке. Чуть заметное движение рукоятки вперед – и ковер, вздрагивая, устремлялся вниз, а дальняя окрестность горой начинала расти вверх из-под него; движение назад – и все впереди застыло поднимавшимся вверх обрезом ковра. Стоило едва-едва перегнуть туловище налево, как волшебный ковер, грациозно склоняясь в ту же сторону, описывал плавную кривую налево; направо – направо. И все это несложное управление покорной птицей было так просто, так ловко и точно, что его можно было сравнить только с удовольствием плавать в спокойной и слегка прохладной воде.

Но вот уже город давно остался позади. Быстро мелькнули под ковром пестрые, полосатые заплатки огородов, темные курчавые четырехугольники кофейных плантаций, белые ниточки извилистых дорог, синие ленточки рек. Теперь направо возвышались величественные гряды мохнатых сизых гор, поросших густым лесом, а налево лежала, в извилистых очертаниях берегов, плоская желтая, голубая бухта, а в ней крошечные белые и темные мошки – парусные суда и пароходы, а еще дальше густо синело и спокойной стеной подымалось кверху море, упираясь в легкое, ясное розово-синее небо.

«Туда! К горам!» – сказал про себя Дюмон.

Ковер так резко накренился правым боком, делая крутой поворот, что у мальчика сердце точно погрузилось на мгновение в ледяную воду, когда он случайно заглянул вниз, в открывшуюся внезапно сбоку страшную глубину. Но это чувство тотчас же прошло у него, как только ковер выправился. Теперь горы шли навстречу Дюмону, вырастая вверх и раздвигаясь вширь с каждой секундой, и странно было видеть, как они на глазах подвижно меняли свои очертания. Среди их темных густых масс стали видны отдельные скалы, обрывы, расщелины, холмы, круглые зеленые полянки, тонкие серебряные нити водопадов. Можно было наконец различить верхушки деревьев.

«Выше! Еще выше!» – говорил мальчик, отдаваясь упоению быстрого лета. На один миг его обдало холодным и сырым туманом, когда ковер пронизал насквозь малое облако, зацепившееся за гребень горы, и быстрым победным лётom взмыл выше всей горной цепи над пустынным безграничным плоскогорьем, которое зеленой покатою равниной простиралось к западу. Солнце, скрытое раньше громадами гор, радостно бросило в лицо Дюмону свои золотые, смеющиеся, ласковые стрелы.

Он до тех пор подымался над горной цепью, пока она не осела глубоко вниз, не расплющилась и не обратилась в плоскость, как и весь круг горизонта, похожий теперь на ровную географическую карту. Тогда Дюмон повернул к югу, к океану, который в своей неопикуемой величавой красоте уходил в беспредельную, необъятную даль.

И скоро никого и ничего не стало, – не стало на всем свете; было только: вверху светлоголубое небо, внизу – черно-синий океан, а посередине – между ними – очарованный, опьяненный буйным веселым ветром мальчик. Даже и его не было, то есть не было его тела, а была только душа, охваченная молчаливым и блаженным восторгом, воистину неземным восторгом, потому что ни на одном языке никогда не найдется слов для того, чтобы его передать.

Но... где-то близко залаяла собака... раздалось щелканье бича... загремели отворяемые ворота... лошадь застучала копытами. Мальчик глубоко вздохнул. Он по-прежнему сидел в своей белой комнате на ковре, и, как раньше, трепетали за окном ровным, глянцевиным блеском плотные листья апельсиновых деревьев.

Что с ним было? Спал он или так всецело ушел в свои мечты, что позабыл на минуту о действительности? На это я не могу ответить. Это – сказка.

– Сказка? – спросят меня. – А где же приключения? Встреча с великаном? Царевна в башне? Хорошая фея? Самоцветные камни? Счастливая свадьба?

На это я скромно возражу:

– Попросите когда-нибудь знакомого авиатора взять вас с собою на полет (только раньше спросите разрешение у родителей и дайте доктору прослушать ваше сердце и легкие). И вы убедитесь, что все чудеса самой чудесной из сказок – пресная и ленивая проза в сравнении с тем, что вы испытываете, свободно летя над землей.

Теперь последнее слово о Дюмоне. В конце девяностых годов девятнадцатого столетия братья Райт, американцы, заявили о своем первенстве в свободном полете на аппарате тяжелее воздуха, продержавшись над землей в течение пятидесяти девяти секунд. Но право их на первенство сомнительно, так как они, в сущности, не летали, а скользили, планировали, подобно брошенному из окна третьего этажа картонному листу. Первый настоящий полет, мы думаем, совершил все-таки несколько месяцев спустя Сантос Дюмон, очертивший на своем аэроплане «Demoiselle» изящную восьмерку между двумя парижскими вершинами – башней Эйфеля и собором Парижской Богоматери.

Надо сказать, что к этому времени он окончательно забыл о волшебном ковре с арабской надписью и о своем сказочном полете. Но есть, однако, в этом удивительном аппарате, в человеческом мозгу, какие-то таинственные кладовые, в которых, независимо от нашей воли и желания, хранится бережно все, что мы когда-либо видели, слышали, читали, думали или чувствовали – все равно, было ли это во сне, в грезах или наяву.

И вот, когда Сантос Дюмон, закончив свою блестящую воздушную задачу, повернул аппарат и стал возвращаться обратно, к ангарам, то его осенила странная, тревожная, впрочем, очень многим знакомая мысль:

«Но ведь все это было со мною когда-то!.. Давным, давным-давно. Но когда?»